



ISSN 1991-6493

ВЕСТНИК

Православного
Свято-Тихоновского
Гуманитарного
Университета

Журнал выходит четыре раза в год.

Основан в 1997 г.

ФИЛОЛОГИЯ

IV:2 (12)

апрель

май

июнь

Москва 2008

ББК 372*5
В 38

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА
протоиерей Владимир Воробьев

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
протоиерей Александр Салтыков
иерей Константин Польсков
иерей Андрей Постернак
иерей Александр Шелкачев
член-кор. РАН В. К. Жиров
член-кор. РАН С. П. Карпов
д. и. н. проф. И.С. Чичуров
д. филос. н. Ю. А. Шичалин
д. ф. н. А. Д. Шмелев

РЕДКОЛЛЕГИЯ СЕРИИ «ФИЛОЛОГИЯ»
к. ф. н. Ф. Б. Альбрехт, к. ф. н. А. В. Вдовиченко, Н. В. Головнина,
к. ф. н. Р. Н. Кривко, к. ф. н. П. Ю. Рыбина,
к. ф. н. О. Н. Скляр, д. ф. н. В. М. Толмачёв

РЕДАКТОРЫ ВЫПУСКА
А. В. Вдовиченко, Р. Н. Кривко

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
К. А. Александрова

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА
Е. В. Комарова

КОНТАКТЫ
115184 Москва, Новокузнецкая ул., 23-б
Тел. (495) 951-22-33
Факс (495) 951-22-35
e-mail: vestnik@pstgu.ru

ISBN 978-5-7429-0331-4

© Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет, 2008

СОДЕРЖАНИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ

| | |
|---|-----|
| «Концерт на вокзале» О. Э. Мандельштама: Пять разборов | 7 |
| СМИРНОВА О. В. | 10 |
| СКЛЯРОВ О. Н. | 21 |
| ЛЕКМАНОВ О. А. | 36 |
| ЗИНОВЬЕВА А. Ю. | 39 |
| ТОЛМАЧЕВ В. М. | 46 |
| УСПЕНСКИЙ Ф. Б. Nadnt sua fata libellulae. К истории русских литературных насекомых. | 57 |
| КРИВКО Р. Н. Церковнославянская параллель к стихотворению О. Э. Мандельштама «Среди священников левитом молодым...». | 78 |
| ВОРОНИН Т. Л. Культура и поэзия в «Дневниках» о. Александра Шмемана | 83 |
| МНАЦАКАНЯН К. А. «Нортенгерское аббатство» Джейн Остин: функции повествователя в романе-пародии | 90 |
| ДЕСЯТОВА М. Ю. Соответствия в глагольных системах балкано-романского и южноитальянского ареалов как результат греческого влияния. | 96 |
| ОЛЕВСКАЯ М. И., ОЛЕВСКАЯ В. В. Проблемы соответствия французской и русской историко-архивной терминологии в свете подготовки международных толковых словарей | 108 |
| ТЕР-АВАНЕСОВА А. В. О фонетике заимствований в современных русских народных говорах | 117 |

ДЕСЯТОВА М.Ю.

Сицилийский диалект в современной лингвистической
ситуации Италии

123

РЕЦЕНЗИИ

Fiori Sgalzi. Grammatica del dialetto petronese e di molti paesi del Reventino.
Soveria Manelli (CZ), 2007. Calabria Letteraria Editrice.

154 с. (М.Ю. Десятова) 133

ХРОНИКА

Научная студенческая конференция по топонимии

(Л.И.Маршева) 141

НАВЕНТ SUA FATA LIBELLULAE

К истории русских литературных насекомых

Ф. Б. УСПЕНСКИЙ

Автор статьи предлагает свое решение «загадки», заключенной в строках О. Э. Мандельштама «Дайте Тютчеву стрекозу — / Догадайтесь, почему». Рассмотрев бытование существительного «стрекоза» в русском литературном языке, Ф. Б. Успенский приходит к выводу о наличии в нем двух лексем, условно названных автором статьи стрекоза₁ (энтотомологическая) и стрекоза₂ (литературная), денотат которых не совпадает, так как в поэтической традиции именем «стрекоза» называется насекомое, чьи признаки отличаются от реальной стрекозы. О. Э. Мандельштам, призывая «дать Тютчеву стрекозу», действует, по мнению Ф. Б. Успенского, в русле полемики акмеизма с символизмом и предлагает вернуть именам их словарные, «вещные», значения вместо условно-символических.

Тигры воют на поляне,
Стрекоза гремит, как гром, —
Это русские древяне
Заколачивают дом.

*Н. М. Олейников,
«Пучина страстей»
(1937 г.)*

Написанное в 1932 г. стихотворение О. Э. Мандельштама «Дайте Тютчеву стрекозу...» принадлежит к числу явных поэтических загадок, когда автор бросает прямой вызов читателю, подчеркивая криптографичность своих строк. Вызов этот мы обнаруживаем уже в начале стихотворения, и именно две первые строчки этого текста и будут интересовать нас в дальнейшем:

Дайте Тютчеву стрекозу —
Догадайтесь, почему.
Веневитинову — розу,
Ну а перстень — никому.

Работа выполнена при поддержке «Фонда содействия отечественной науке» (грант «Доктор наук РАН, 2008 г.»).

Баратынского подошвы
Раздражают прах веков.
У него без всякой прошвы
Наволочки облаков.

А еще над нами волен
Лермонтов — мучитель наш,
И всегда одышкой болен
Фета жирный карандаш².

«Догадаться» пытаются уже несколько поколений читателей и исследователей. Загадка Мандельштама оказалась неразрешимой даже для самого первого и вдумчивого из них — Н. Я. Мандельштам не только не нашла ответа, но и вовсе не заметила никакой тютчевской стрекозы, сочтя, что ее муж мог попросту перепутать строчки из Ф. И. Тютчева и А. К. Толстого³.

Лишь позднее было установлено, что у Тютчева все же есть одно-единственное стихотворение 1835 г. (публикация в 1836 г.), в котором стрекоза упомянута:

В душном воздухе молчанье,
Как предчувствие грозы,
Жарче роз благоуханье,
Звонче голос стрекозы...⁴

Это указание, будучи совершенно точным и необходимым для понимания текста Мандельштама, не является, однако, достаточным. В самом деле, почему поэт XX в. счел нужным преподнести поэту века XIX объект, столь редко упоминаемый в стихах последнего, и, с другой стороны, может ли в самом слове «стрекоза» заключаться загадка, имеющая более или менее однозначный ответ, до которого должен был бы додуматься читатель?

² См. *Мандельштам О. Э.* Стихотворения. Проза / Сост., вступ. ст. и коммент. М. Л. Гаспарова. М., 2001. С. 190. (Библиотека поэта.) Здесь и далее разрядка Ф. Б. Успенского.

³ Ср.: «Я так и не догадалась, что за стрекоза, которую он предлагает дать Тютчеву. У самого Тютчева есть сколько угодно мотыльков, но стрекозы нет и в помине. Может, в письмах? Может, в чьей-то статье говорится о стрекозе в связи с Тютчевым? Или — и эта догадка мне кажется имеющей основания — О. М. приписал стрекоз Алексея Толстого Тютчеву? Тютчева он не перечитывал и помнил наизусть. Когда-то в детстве могла произойти такая путаница и так и остаться... Ведь у Алексея Толстого это одно из тех звучных хрестоматийных стихотворений, которые он не раз поминал (например, в «Путешествии в Армению»)» (*Мандельштам О. Э.* Собрание произведений. Стихотворения / Сост., подг. текста и примеч. С. В. Василенко и Ю. Л. Фрейдина. М., 1992. С. 422–423). Не обнаружил у Тютчева стрекозы и Е. Рейн: «Наивные литературоведы перерыли всего Тютчева — у него никакой стрекозы нет. Но ведь это не буквальная стрекоза — это тонкое, ассоциативное воспроизведение поэтики Тютчева. И если мы вдумаемся — действительно стрекоза!» (*Рейн Е.* Поэзия и «вещный» мир // Вопросы литературы. 2003. № 3 <<http://magazines.russ.ru/voplit/2003/3/rein.htm>>).

⁴ *Тютчев Ф. И.* Стихотворения. Письма / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. К. В. Пигарева. М., 1957. С. 100. В другом варианте строфы (по-видимому, авторском) мы обнаруживаем разночтение «Резче голос стрекозы». Судя по всему, эпитет «звонче» является результатом редакторской правки в журнале «Современник», где в 1836 г. впервые было опубликовано интересующее нас стихотворение.

В поисках этого ответа была собрана целая коллекция стихотворений, созданных с середины XVIII до конца XX в., где так или иначе упоминаются стрекозы, выявлялись многочисленные подтексты и ассоциативные ряды, связанные со стрекозой темой в русской поэзии⁵. Тем не менее большая часть предложенных сближений важна, скорее, для понимания всего строя поэтической образности Мандельштама или Тютчева, но едва ли служат ответом на прямой вызов поэта — «Догадайтесь, почему»⁶. Загадка, заданная в первых строках сти-

⁵ См., например: *Плотникова-Робинсон В. А.* Стрекоза или кузнечик? // Лексикографический сборник. Вып. 3. М., 1958; *Фаустов А. А.* «Голос стрекозы»: Об одном тютчевском образе в зеркале интертекста // Поэтическое наследие Ф. И. Тютчева: Литературоведение, лингвистика, методика. Брянск, 2003; *Фаустов А. А.* Голос стрекозы в русской поэзии // *Arbor mundi*: Мировое древо. 2004. Вып. 11; *Топоров В. Н.* Этимологические заметки // *Ad fontes verborum*: Исследования по этимологии и семантике: К 70-летию Ж. Ж. Варбот. М., 2006. С. 405–416; ср. также: *Полонский А.* «Дайте Тютчеву стрекозу» // *Russian Literature. Special Issue F. I. Tjutchev II*. Vol. 57; *Нива Ж.* Цикады и стрекозы: Осип Мандельштам и Андрей Белый // *Эткиндовские чтения II–III*: Сб. ст. по материалам Чтений памяти Е. Г. Эткинда. СПб., 2006; *Безродный М.* Мандельштам и символизм: Две заметки к теме (в печати).

⁶ Укажем здесь некоторый перечень интерпретаций мандельштамовского стихотворения.

Ю. М. Лотман полагал, что «стрекоза у Тютчева — не насекомое, а знак всеобщей жизни и синонимична другим ее проявлениям», что и побудило Мандельштама «избрать этот один лишь раз употребленный Тютчевым образ символом всего его творчества» (*Лотман Ю. М.* Поэтический мир Тютчева // *Лотман Ю. М.* О поэтах и поэзии. СПб., 2001. С. 570. Примеч. 2).

По мнению О. Ронена, для Мандельштама Тютчев — поэт-вестник и исследователь грозы (в том числе и как прообраза исторического события); именно поэтому стрекоза выступает здесь в качестве атрибута Тютчева (*Ронен О.* Поэтика Осипа Мандельштама. СПб., 2002. С. 32–33, 125).

Прочтение Г. Г. Амелина и В. Я. Мордерер основывается на анализе своеобразных межъязыковых каламбуров (точнее, ребусов), присутствующих, по мнению авторов, в мандельштамовском стихотворении: «Краткоживущая стрекоза отвечает лапидарной сжатости и краткости самой поэтики Тютчева... Как и гроза у Тютчева, разрушающая и творящая, убивающая и воскрешающая, тютчевская туча Мандельштама также соединяет оба полюса — жизнь и смерть. “Тот же Тютчев”... обнажает теперь в своем имени смысл нем. *tot* — “мертвый”. Мы подозреваем, что Мандельштам само “Т” воспринимал как эмблематически-буквенное выражение летящей стрекозы с распростертыми крылышками. “Стрекозы смерти” — это “жирные карандаши”, обратное столь же верно: “на мертвого жирные карандаши” “налетели”, “как стрекозы”. “Блаженна стрекоза, разбитая грозой...” — возвестит Хлебников... Гете называл стрекозу “попеременной” (*wechselnde*). Но для Мандельштама она не только включает в себя противоположности, но меняет, обменивает. Она — единица “творящего обмена”. Немецкое *fett* — “жирный, тучный”. То есть тучный Тютчев подобен жирному Фегу (это — не шутка)» (*Амелин Г. Г., Мордерер В. Я.* «Дайте Тютчеву стрекозу...» Осипа Мандельштама // *Лотмановский сборник*. Т. 2. М., 1997. С. 405; *Амелин Г. Г., Мордерер В. Я.* Миры и столкновения Осипа Мандельштама. М.; СПб., 2000).

В работе Л. Ф. Кациса предлагается взглянуть на стихотворение Мандельштама как на текст, содержащий «два плана — “золотой” и “серебряный” века русской поэзии». Соответственно при дешифровке исследователю остается лишь подобрать имена современных Мандельштаму поэтов и подставить их на место имен поэтов XIX в.: «так, имя Тютчева в первой строке кажется вполне возможным заменить на самого автора, тем более что “стрекоза” скорее мандельштамовский, нежели тютчевский признак... Теперь достаточно заменить “Тютчева” на “Осипа”, как получим совершенно ясную строку, а заодно и разгадку мандельштамовской загадки: стрекозу-то надо дать Мандельштаму: Дайте *Oscinu* стрекозу...» (*Кацис Л. Ф.* «Дайте Тютчеву стрекозу...»: Из комментариев к возможному подтексту // «Сохрани мою речь...»: Мандельштамовский сборник. М., 1991. С. 77–78).

хотворения, требует, на наш взгляд, не только многоуровневой интерпретации, но и однозначной отгадки.

Кажется, такой ответ все-таки существует и, возможно, он не так уж сложен, что и помешало — как это нередко бывает с разрешением определенного типа загадок — до него добраться сразу же. Дело в том, что Н. Я. Мандельштам парадоксальным образом, была права: в определенном смысле у Тютчева стрекозы действительно нет, хотя соответствующая лексема вполне присутствует. Иными словами, О. Э. Мандельштам предлагает дать Тютчеву отсутствующее означаемое к имеющемуся означающему⁷.

В чем же тут дело, почему же поэт в известном смысле действует как художник Магритт, подписавший под знаменитым изображением курительной трубки знаменитое «Это не трубка»?

Чуть более пристальный взгляд на строки Тютчева — «Жарче роз благоуханье, / Звонче [= Резче] голос стрекозы» — позволяет заметить несообразность, которая при первом прочтении воспринимается как нечто вполне нейтральное и естественное. Наблюдая за стрекозами или читая о стрекозе-libellula в учебнике, любой человек может убедиться, что они практически бесшумны, — во всяком случае, у них нет никаких специальных приспособлений ни для воспроизведения звука, ни для его тонкого различения. Даже их крылья обладают специальными стабилизаторами, чтобы как можно меньше вибрировать в полете. Таким образом, сколь ни было бы метафорично слово «голос» у Тютчева,

Согласно Д. Черашней, «тютчевская стрекуза вводит в стихотворение Мандельштама тему смерти, причем не только как таковую, но и как тему смерти “первого поэта” (Ахматова), сообщая тексту сюжетную тягу к перстню — его смысловому центру» (*Черашняя Д.* От формы высказывания к смыслу целого («Дайте Тютчеву стрекузу...» // *Филолог.* 2004. № 5. С. 56).

В статье Е. Сошкина, посвященной взаимодействию подтекстов стихотворений Мандельштама, в связи с интересующими нас строками анализируется мотив творческого удущья: «стрекоза, предназначенная Тютчеву, встречается в его творчестве лишь единожды, в стихотворении 1835 г., которое по стиховым параметрам аналогично мандельштамовскому... Обоснованное предположение, что “тютчевская стрекоза привлекла Мандельштама как предвестница грозы”, способствует прояснению психологии мандельштамовского творчества, но не разгадыванию предложенного поэтом ребуса. Между тем процитированные тютчевские строки сообщают прежде всего о *духоте*, каковая симметрична фетовскому признаку — *одышке*. При этом у Мандельштама появление в финале ключевого слова “одышка” тщательно подготовлено паронимически во 2-й, центральной, строфе имплицитным сравнением облаков с *подушками*, на котором базируется образ “наволочки облаков” (*подушка* — *одышка*), а непрозвучавшее слово *подушки* подсказывается, в свой черед, созвучным ему словом *подошвы*. Выстраивается следующий ряд: (*душном*) — *подошвы* — (*подушки*) — *одышкой*, — где поэтапно, начиная с фигуры умолчания и заканчивая прямым названием, тематизируется трудное дыхание...». При этом перстень у Мандельштама, по мысли автора, «противопоставлен стрекозе и розе как рукотворный предмет, не подверженный тлению, — созданиям *быстроживущим* (так Мандельштам когда-то назвал стрекоз), прекрасным в своей шемящей недолговечности; они-то и подобают *живым* поэтам, перстень же не достанется никому: даже разделив со своим владельцем загробный удел, перстень никогда не обратится в прах и не смешается с его прахом» (*Сошкин Е.* К пониманию стихотворения Мандельштама «Дайте Тютчеву стрекузу...» // <http://textonly.ru/titlePage/?issue=21>).

⁷ Эта нетождественность подчеркивается, кстати, странным, псевдоархаическим ударением — не стрекозэ, а стрекузу, ударением, не находящим себе соответствия ни в тютчевском стихотворении, ни в каком-либо другом известном нам тексте.

но к стрекозам такая метафора приложима куда меньше, чем ко многим другим насекомым — никакого звонкого или резкого голоса у них нет и быть не может.

Хотел ли Мандельштам посмеяться над Тютчевым и уличить его в незнании родной природы, как в свое время А. С. Пушкин высмеял строку графа Хвостова, назвав его в известном письме П. А. Вяземскому «отцом зубастых голубей»? Разумеется, нет. Как кажется, Мандельштам здесь одним легким движением обнажил некоторую проблему в истории русского литературного языка. В самом деле, нельзя забывать о том, что весь наш полушуточный текст написан тогда же, когда были созданы и вполне «серьезные» стихи — «К немецкой речи» и «Стихи о русской поэзии». Без преувеличения можно утверждать, что некоей фундаментальной общей темой этих трех произведений является история русской поэзии и феноменология поэтического языка. Стоит ли удивляться поэтому, что задача, которую поэт задает читателю, является не только литературоведческой, но и, так сказать, лингвистической.

Дело в том, что фактически в русском языке Нового времени под одним именем живут два существа, которые, то отдаляясь, то сближаясь, до сих пор не смогли слиться друг с другом полностью. Условно их можно назвать стрекоза¹, стрекоза энтомологическая, и стрекоза², стрекоза литературная. Обе они родом из XVIII в., и со временем одна из них, стрекоза¹, намного опережает свою соперницу, хотя и стрекоза² все еще вершит свой полет.

Стрекоза² — существо в высшей степени причудливое. Она была порождена не какими-то силами природы, а поэтической традицией, что и определило некогда ее облик и повадки. Наиболее известное место ее обитания — это хрестоматийная басня И. А. Крылова «Стрекоза и муравей», относящаяся к 1808 г. Прежде всего бросается в глаза всеми многократно отмеченное несоответствие заглавия русской басни и ее французского прототипа — басни Лафонтена «*La cigale et la fourmi*» («Цикада и муравей»). Такое несоответствие, по-видимому, вряд ли может быть объяснено личным выбором русского Эзопа — к тому времени уже существовала своего рода литературная привычка называть эту героиню Лафонтеновой басни «стрекозой». Это именование фигурирует в русской поэзии конца XVIII — начала XIX в.: в притче А. П. Сумарокова «Стреказа»⁸, в басне И. И. Хемницера 1782 г.⁹ и, например, в стихотворении «Стрекоза» Ю. А. Нелединского-Мелецкого¹⁰.

У Крылова (да и у всех перечисленных баснописцев) к стрекозе применяются эпитеты, которые никак к ней неприменимы с точки зрения биолога. В первой же строчке, как мы помним, она именуется «попрыгуньей», тогда как прыгать она не может, а все лето она проводит в мягкой мураве, что стрекозам, кажется, также противопоказано. Кроме того, главный упрек, который ей бросает трудолюбивый муравей, заключается в том, что она слишком много пела. Стрекоза по своим морфологическим характеристикам совершенно не способна петь, сидя

⁸ «В зимне время, подаянья / Просит жалко стреказа, / И заплаканны глаза, / Тяжкова ея страданья...» (Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе А. П. Сумарокова / Собраны и изданы Н. Н. Новиковым. Ч. 1—9. М., 1787. Ч. 7. С. 123—124).

⁹ «Все лето Стрекоза в то только и жила, / Что пела...» (*Хемницер И. И.* Басни и сказки : В 3 ч. Ч. 2. М., 1830. С. 31).

¹⁰ «Лето целое жужжала / Стрекоза, не зная забот...» (*Нелединский-Мелецкий Ю. А.* Сочинения. СПб., 1850. С. 169).

в траве, весьма слабые звуки, издаваемые иногда ее крыльями, вообще едва ли можно, не прибегая к крайней акустической гиперболе, назвать пением.

Все эти погрешности легко объяснимы, если помнить о том, что в лафонтеновской басне фигурировала цикада, которая может прыгать, подолгу сидеть в траве и считается лучшим певцом среди насекомых. В русском же языке не было своего обозначения для цикады. Отчасти это объяснялось тем, что большинство цикад обитает южнее средней полосы, хотя некоторые ее виды (например, *cicadetta montana*) заходят далеко на север. Но все же почему стрекоза? Ведь все басенные характеристики цикады легко приложимы, например, к кузнечикам и кобылкам. Хотя по своим певческим данным они и уступают цикаде, многие из видов этих насекомых способны производить и повторять по нескольку достаточно разнообразных песен, звучащих по-разному, в зависимости от погоды, времени суток и т. д. Как и цикады, кузнечики обладают тонким слухом и прекрасно различают напевы своих собратьев, чего никак нельзя сказать о любившейся русским баснописцам стрекозе.

Обыкновенно, если речь идет о Крылове, это несоответствие объясняют тем, что в его времена «стрекозой» попросту именовался не кто иной, как кузнечик¹¹. Между тем такое объяснение, не будучи целиком ошибочным, отнюдь не является верным. Речь идет не о механической подмене одного названия другим, а о некотором куда более сложном распределении значений целой группы слов.

Прежде всего выбор переводчика той или иной «насекомой» лексемы в XVIII — начале XIX в. во многом определялся поэтическим жанром или даже поэтической традицией переложения конкретного классического образца. В басне на месте французского *la cigale* или греческого *tettix* 'цикада' безоговорочно господствует стрекоза, тогда как в оде царит кузнечик. Так, М. В. Ломоносов, знавший и употреблявший слово «стрекоза» в «Материалах российской грамматики»¹² и в «Первых основаниях металлургии»¹³, для своего знаменитого переложения анакреонтической оды «К цикаде» в 1761 г. избрал слово «кузнечик», начав ее словами: «Кузнечик дорогой, коль много ты блажен...»¹⁴ — задав тем самым устойчивый образец для будущих переводчиков этой оды. Кузнечик сохраняется в переводах Н. А. Львова¹⁵, Н. И. Гнедича «О счастливец, о кузнечик...» («Из Анакреона», 1822)¹⁶ и Г. Р. Державина. В 1802 г. Державин, в частности, называет его «песнопевец тепла лета / Апполона нежный сын»¹⁷, тогда как в другом стихотворении, «На приобретение Крыма» (1784), отчасти сходные функции присваиваются им стрекозе именно потому, что речь здесь идет о басне:

¹¹ См., например: *Успенский Л.* Слово о словах. Л., 1954. С. 278; ср. *Плотникова-Робинсон В. А.* Указ. соч. С. 133, 137.

¹² См.: *Ломоносов М. В.* Полн. собр. соч. Т. 1—11. М.; Л., 1950—1983. Т. 7. С. 673.

¹³ См.: *Ломоносов М. В.* Первые основания металлургии или рудных дел. СПб., 1763. С. 376 (Прибав. II).

¹⁴ См.: *Ломоносов М. В.* Избр. произв. Л., 1986. С. 276. (Библиотека поэта; Большая серия).

¹⁵ См.: *Львов Н. А.* Избр. соч. / Вступ. ст., сост., подгот. текста и коммент. К. Ю. Лаппо-Данилевского. Кёльн; Веймар; Вена: Бёлау-Ферлаг; СПб., 1994. С. 142.

¹⁶ См.: *Гнедич Н. И.* Стихотворения. Л., 1956. С. 128. (Библиотека поэта; Большая серия).

¹⁷ «Счастлив, золотой кузнечик, / Что в лесу куешь один!..» (см.: Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. Т. 1—9. СПб., 1864—1883. Т. 2. С. 424—426).

Осклабься Пифагор дивится,
 Что мнение его сбылося,
 Что зрит он преселенье душ:
 Гомер из стрекозы исходит,
 И громогласным, сладким пеньем
 Не баснь, но истину поет¹⁸.

Можно было бы говорить о тенденции соотносить греческое *tettix* с кузнечиком, а французское *la cigale* — со стрекозой, однако, на наш взгляд, в данном случае жанровый вектор гораздо мощнее языкового. Но и самый жанр определяет здесь отнюдь не все. Так, в басне В. А. Озерова, созданной в 1797 г., как и прочие, по образцу Лафонтеновой «*La cigale et la fourmi*», мы находим, вопреки жанровому принципу, вовсе не стрекозу, а кузнечика¹⁹, тогда как в басенном тексте М. Н. Муравьева (1773) стрекоза и кузнечик появляются как антагонисты²⁰.

Что же касается знаменитой истории о стрекозе и муравье, то ее первые переводы появляются, как известно, в XVII в.²¹ Этот сюжет присутствует в «Кратком и полезном руководстве во арифметику», изданном в 1699 г., и в «Зрелище жития человеческого», рукописи 1712 г., где его изложение начинается следующим образом:

«Прииде в зиму сверчок ко мравию и рече: “Се нынѣ наста время зимы, аз же не имат что ясти, зане в лете питахся различными овощми. Дадите мне от жите вашего да гладом не погибну”»²².

¹⁸ См.: Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. Т. 1. С. 185–186.

¹⁹ «Кузнечик ветренный, про стужу позабыв, / Все красны дни пропел среди веселых нив...» (Русская басня XVIII–XIX веков / Подг. текста и примеч. В. П. Степанова и Н. Л. Степанова. Л., 1977. (Большая серия Библиотеки поэта).

²⁰ «Полей и тучных жатв любитель, / Крестьянин некогда кузнечиков ловил. / Цыпляточкам своим копил их сельский житель, / И бил, / И крыл, / Их брил. / Тогда крестьянину попалася под руки / Невинна стрекоза: / Час ужаса настал, приблизилась гроза / И люты стрекозе стоят готовы муки; / Она, глас жалостный насилу испустив, / Молила мужика явить свою щедроту. / «Когда я, — говорит, — плоды вредила нив / И поглощала вмиг вселетнюю работу? / Лишь то во весь мой век утеха мне и труд, / Что, с былия на стебель всходя и возвышаясь, / Во сладких песнях я неслась и восхищалась; / Увы! почто даешь ты мне толь строгий суд?» / — «Не обвиняй меня, — мужик рек на прошение. — / Зачем в сообществе была ты таковым?» / О души, коих есть невинность украшение! / Бегите общества с злодеем и врагом» (Басни лейб-гвардии Измайловского полку фурьера Михайлы Муравьева. СПб., 1773. Кн. 1. С. 2).

Вопреки мнению исследователей (Фомичев С. А. Последний русский баснописец // «XVIII век». Вып. 20. СПб., 1996; Топоров В. Н. Указ. соч. С. 406) этот текст не является переводом Лафонтеновой басни «*La cigale et la fourmi*». М. Н. Муравьев использует здесь другой, несколько менее популярный басенный сюжет. В «Жизнеописании Эзопа» (гл. 99, редакции W и G) рассказывается о том, как Эзоп, желая сохранить себе жизнь при дворе царя Креза, произносит басню о бедняке, который вынужден был ловить и есть саранчу (*akris*) и поймал среди этих насекомых и цикаду (*tettix*). Она же взмолилась о том, чтобы он сохранил ей жизнь, потому что она не вредила людям и не портила их имущество, как это делает саранча, но лишь услаждала их слух пением. Лидийский царь внял просьбам Эзопа и сохранил ему жизнь.

²¹ Об источниках и традиции басенных переводов см. подробно: Тарковский Р. Б., Тарковская Л. Р. Эзоп на Руси, век XVII. : Исследования, тексты, комментарии. СПб., 2005.

²² См. Зрелище жития человеческого различных животных притчами, и старожитных людей примерами, всякому добрых нравов в научение, предоставлено. М., 1712. Л. 4об. Ркп. ГПБ АН УССР, собр. Киево-Печерской лавры, № 373 (126); Тарковский Р. Б., Тарковская Л. Р. Указ. соч. С. 307.

Правда, эти ранние переводы выполнены, скорее всего, с греческого, а не с французского, и сюжет, естественным образом, излагается на гибридном церковно-славянском. Для нас же наиболее существенно здесь, что в начале XVIII в. никаких стрекоз в изложении этой басни нет — собеседник муравья именуется в 1699 г. «конином»²³, а в 1712 г. — сверчком. И тот и другой прямые родичи кузнечика, способные петь и прыгать. Стрекоза же, в близком родстве с кузнечиком не состоящая, займет эту литературную нишу лишь в поэтическом языке второй половины XVIII в.

Подводя некоторый предварительный итог, можно сказать, что со второй половины XVIII в. в языке русской поэзии слова «кузнечик» и «стрекоза» в целом имеют довольно близкий, но при этом крайне расплывчатый и достаточно фантастический денотат, более напоминающий того, кто в современном языке именуется «кузнечиком», но отнюдь не тождественный ему. Можно сказать, что Ломоносов заботится о том, чтобы его маленький поэтический герой обладал некоторым целостным естественнонаучным обликом. За пределами его творчества это соответствие некоторое время было совершенно нерелевантным. Если мы посмотрим на стрекоз и кузнечиков в творчестве Державина, например, то обнаружим, что это некое обобщенное насекомое, которое может залететь в окно, светиться в темноте и непременно умеет петь. Концентрированный образ такой стрекозы можно видеть, например, в поэтических переводах ученика Ломоносова Николая Поповского (1754):

...в твою ли стрекоза угодность то творит,
что скачет на полях, летает и журчит.
Нет, радость внутрення и голос к воспеванью
и крыла нудит в ней ко быстрому летанью²⁴.

Такова стрекоза₂. Ее фантомная наружность в литературной традиции, любопытная сама по себе, приобретает, однако, совершенно особый интерес на фоне стрекозы₁, которая в те же 70-е гг. XVIII столетия так же активно размножается, но в другом регистре литературного языка. Строго говоря, стрекоза₂ даже старше своей литературной сестры и встречается уже в «Книге мирозрения» Якова Брюса 1717 г., который отмечает «их чудесную природу, егда из червеи крыласты становятца»²⁵. Однако именно в последней трети века происходит ее массовый вылет. Если мы обратимся к русским переводам знаменитого естественнонаучного сочинения академика П. С. Палласа, то найдем здесь не только прямое упоминание стрекозы, кузнечика, коника, цикады и саранчи, но и весьма подробные и дифференцирующие их характеристики. Здесь описания кузнечика, цикады или стрекозы, в сущности, ничем не противоречат представ-

²³ «Зимою егда пшеница согривалась мурашки студили. Коник же алчныи проси мурашек да ему дадут нечто ѿ пшеницы ясти» (Краткое и полезное руковедение, во аритметику, или в обучение и познание всякого счоту, в сочтении всяких вещей. Амстердам, 1699. С. 46 <Причи>).

²⁴ См.: Опыт о человеке. Господина Попе. Переведено с французского языка Академии наук конректором Николаем Поповским 1754 года. М., 1757. С. 37.

²⁵ См.: Книга мирозрения, или мнение о небесноземных глобусах, и их украшениях. [Пер. с нем. Я. Брюса]. СПб., 1717. С. 55.

лениям биолога XX в., отличаясь от них лишь постольку, поскольку со времен Карла Линнея, на которого Паллас опирается в первую очередь, изменилась в целом вся энтомологическая классификация. Разумеется, Паллас никогда не путает, а точнее, не отождествляет, к примеру, стрекозу и кузнечика или стрекозу и цикаду, отмечая при этом родство кузнечика и сверчка.

Так, например, 12 мая 1769 г. Паллас наблюдает, как при реке Усе «летали стрекозы особливого рода», и делает к соответствующей записи примечание «зри в прибавлении параграф 56»²⁶. В Прибавлении, своеобразном каталоге животных и растений, привлечших внимание академика, объясняется, к какому виду относится эта стрекоза особливого рода:

«Крылоногий коромысл (*Libella pennipes*). Видом и величиною подобен Коромыслу, именуемому Девочке (*Libella puella*). Грудь повясчитая подобно как и оной. На голове примечается повязка и между глазами поперешная полоска; в протчем стан покрывает цвет самой белой, переменяющийся едва приметно красноватым, а иногда лазоревым цветом. По нижней части брюха идет вдоль черныя линейчки, которыя у иных бывает тройная; подобным образом проведена и по верхней, которая прерывается различно. На лядвях видны две линейчки, и с обеих сторон каемка; берца широкия, облагающиеся перьям подобною опушью, белыя с черным, тонким и долгим ребром. Крылья прозрачны с темножелтым при конце пятнышком. Около Волги и Самары рек повсюду примечается».

Эти описания столь значимы для нас потому, что именно П. С. Паллас из всех путешественников и составителей научных словарей XVIII в. оказался наиболее авторитетным в области русской естественнонаучной терминологии. Чуть позже первое и второе издание Словаря Академии Российской, следуя духу его естественнонаучных описаний, характеризует стрекозу следующим образом:

«Стрекозб... *Libellula*. Насекомое, принадлежащее к отделению Сетчатокрылых (*Neuroptera*. Linn.) снабженное четырью сетчатыми крыльями, роговыми челюстями с зубами, двумя кусательными остриями и трехраздельною кожаную губою, усиками ниткообразными, короче передняго тела, тремя побочными, кроме сетчатых, глазами; самец же имеет на хвосте клещевидные крючечки. Стрекозы в конце лета кладут продолговатыя яички в воду, из них выходят шестиногия личинки, питающаяся другими водяными насекомыми и по спущении с себя трех кож следующею весной выходят совершенными сухопутными четверокрылыми насекомыми»²⁷.

В словаре имеется также встречающаяся у Палласа лексема «коромысло» или «коромысел»²⁸, однако отдельной статьи для нее не отведено, она отождествляется со стрекозой, что соответствует как линнеевской, так и современной

²⁶ См.: Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. Ч. 1. СПб., 1773. С. 266 <1769, мая 12 числа>. С. 326 <1769, июня 24 числа>.

²⁷ См.: Словарь Академии Российской. СПб., 1822. Ч. 6. Стб. 540. Данная словарная статья присутствует в том же самом виде и в первом издании Словаря Академии Российской.

²⁸ См.: Словарь Академии Российской. СПб., 1814. Ч. 3. Стб. 321.

классификации, где слово «коромысло» используется для обозначения одной из разновидностей стрекоз.

Итак, оставляя в стороне другие примеры из естественнонаучных сочинений, мы можем констатировать, что стрекоза₁ была явлена читающей публике в ту же пору, что и героиня интересовавших нас переложений Лафонтеновой басни, а ко времени появления крыловского, например, текста (1808) успела уже просуществовать довольно долго на русской почве.

Немаловажно, что появление обоих этих персонажей, стрекозы₁ и стрекозы₂, связано с куда более глобальными историко-лингвистическими процессами: по сути дела, в эту же пора активно формируется как язык русской поэзии, так и язык науки. Оба они складываются под прямым воздействием иноязычных образцов, в лексическом составе каждого из них очень многое определяется необходимостью перевода, а скорее — поиском эквивалента. Что касается языка науки, то именно в последней трети XVIII в. на русскую почву приходит Линней с его подробными и детальными классификациями²⁹.

Детализация естественнонаучного описания того времени отнюдь не лишена изящества и способности завораживать читателя. Хотелось бы подчеркнуть, что, говоря о языке науки в XVIII в., мы имеем в виду не только язык научных словарей и классификационных перечней, но и язык путешествий, путевых заметок, этнографических повествований, призванных завлечь и в известном смысле развлечь читательскую аудиторию. Однако характерной приметой эпохи оказывается относительная изолированность двух формирующихся потоков русского литературного языка, двух направлений словесности. Рецепция западноевропейской культуры не обошла стороной и естественные науки. Нарушенной же в ту пору оказалась их публичность и связь с общелитературным процессом. Казус стрекозы служит своего рода индикатором меры и степени этой разобщенности — одно и то же слово одновременно приобретает два разных семантических наполнения. В языке естественных наук (как части формирующейся литературной традиции) — это бесшумное четверокрылое насекомое, летающее над озером или лугом, тогда как в поэтическом языке это существо способное к пению, скаканью и ползанию.

Каковым бы мог быть первоначальный источник такого семантического зазора?

Прежде всего необходимо отметить, так сказать, причудливость самой лексемы «стрекоза», причудливость сразу в нескольких направлениях. Во-первых, вплоть до XVII в. слово «стрекоза» не фиксируется в источниках, а в XVII в. мы находим его только в переводных азбуковниках, и оттуда решительно непонятно, каков его денотат³⁰. Это, разумеется, ни в коей мере не означает, что слова «стрекоза» вовсе не было в русском языке до конца XVII в. Однако это с большой вероятностью означает, что вплоть до середины XVIII столетия оно не было, так

²⁹ Ср.: Система природы Карла Линнея. Царство животных. Ч. 1. / На Российском языке издал с примечаниями и дополнениями Александр Севастьянов. СПб., 1804. С. XI.

³⁰ В картотеке Словаря русского языка XI—XVII вв. мы находим лишь одну фиксацию слова «стрекоза», в памятнике XVII в. — «гусеницы, строкозы» («Алфавит иностранных речей», Рукопись библиотеки АН XVII в., л. 117 об.; ср.: *Плотникова-Робинсон В. А.* Указ. соч. С. 135).

сказать, устойчивым фактом русского литературного языка. Его нет, например, в отличие от саранчи, пружа и кобылки в библейских переводах, в отличие от кузнечика, мы не обнаруживаем описания стрекозы в лечебниках и травниках...

Иными словами, как поэзия, так и естественная наука могли позаимствовать его только из разговорного языка, из диалектов. И здесь следует подчеркнуть, что П. С. Палласу, как и другим естествоиспытателям линнеевской школы, присуще стремление выяснить и сохранить местные названия растений и животных, будь то русское, калмыцкое или чувашское, и сделать это с максимальной точностью, по возможности отмечая, например, когда два различных вида растения объединены под одним народным наименованием или исправляя ошибки своего коллеги в фонетической передаче этих народных названий. Трудно поэтому заподозрить Палласа и других естествоиспытателей в произвольном выборе диалектного слова для передачи латинского *libellula*, тем более что для обозначения различных представителей отряда стрекоз натуралисты того времени использовали целый ряд названий наших бесшумных летуний, которые надежно фиксируются в русских говорах — это и уже упоминавшееся «коромысло», и «стрелка», и «веретено», и «бабка» и некоторые другие. Чтобы не ограничиваться трудами Палласа, упомянем пример из другой экспедиции конца XVIII в., из описания поездки Н. Я. Озерецковского по Белому морю:

«На сем разстоянии летало тогда несметное множество стрекоз (*Libellula*), которыя называются там “веретно” и “стрйлько”»³¹.

Любопытно, что слово «стрекоза» вообще имелось отнюдь не во всех диалектах, *libellula*, например, могла именоваться исключительно «коромыслом». Иллюстрацию к такому положению дел можно найти в существенно более позднем тексте, у И. С. Тургенева («Поездка в Полесье», 1853–1857), где он пытается соотнести французское слово с наиболее известным ему изводом народной речи:

«Я поднял голову и увидел на самом конце тонкой ветки одну из тех больших мух с изумрудной головкой, длинным телом и четырьмя прозрачными крыльями, которых кокетливые французы величают «девицами», а наш бесхитростный народ прозвал «коромыслами». Долго, более часа, не отводил я от нее глаз. Наквось пропеченная солнцем, она не шевелилась, только изредка поворачивала головку со стороны на сторону и трепетала приподнятыми крылышками... вот и все. Глядя на нее, мне вдруг показалось, что я понял жизнь природы, понял ее несомненный и явный, хотя для многих еще таинственный смысл»³².

³¹ См.: *Озерецковский Н. Я.* Описание путешествия по Белому морю // Дневные записи путешествия доктора и Академии Наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства. Ч. 1–4. СПб., 1771–1805. Ч. 4. С. 95.

³² См.: *Тургенев И. С.* Собр. соч.: В 12 т. Т. 6. М., 1955. С. 222. Замечательно, что точно такое же сонное коромысло присутствует и в одной из дневниковых записей Палласа: «Ныне трава Киноглосса стояла в полном цвете, и около оной собралось множество насекомых, которые сидели на цветах как сонныя. По большей части были долгоносыя жуки, и редкия коромыслы: также примечания достойныя козявки сидели на Стародубке» (*Паллас П. С.* Путешествие по разным провинциям Российской империи. Ч. 1. С. 278 <1769, мая 19 числа>). При этом подчеркнем еще раз, что Паллас (как и Словарь Академии Российской) считает коромысло одним из видов стрекозы.

Однако самым существенным обстоятельством для нас является, пожалуй, тот факт, что целый ряд слов, в одних говорах обозначающих кузнечика, в других могут применяться к стрекозе³³. Вообще говоря, в этом нет ничего удивительного — в разных диалектах одни и те же названия весьма нередко применяются к разным насекомым или другим представителям флоры и фауны. Однако именно здесь и кроется, по-видимому, первоначальная причина семантического расхождения. Натуралисты и стихотворцы второй половины XVIII в. одновременно позаимствовали слово «стрекоза» из разных диалектов и соответственно присвоили ему разные значения. Этот факт сам по себе тоже не является чем-то из ряда вон выходящим (он лежит, если угодно, в том же ряду лингвистических казусов, что и заимствование слова «чай» русскими и англичанами из разных провинций Китая). Важно, однако, что в каждом языковом регистре эта лексема обрастает своей семантической валентностью: в научном языке формируется своеобразная иерархия из народных обозначений стрекозы — «стрекозы» это название всего отряда в целом, а всяческие «коромысла», «бабки», «стрелки» и «красотки» становятся обозначениями для различных подотрядов, семейств и родов стрекозы. Именно таким путем сложная латинская классификация Линнея обрастает, так сказать, живым мясом на русской почве.

В поэтическом же языке диалектные различия делают возможным появление гибрида с неясными очертаниями, главной отличительной чертой которого благодаря поэтическому переводу оказывается способность к пению. На стороне поэтической версии описания стрекозы безусловно стоит внутренняя форма слова. Какова бы ни была научная этимология лексемы «стрекоза», кстати говоря довольно сложная и неоднозначная³⁴, для носителя языка она неизбежно ассоциируется с глаголом «стрекозатать», то есть издавать определенного рода звуки.

Итак, возникновение семантического зазора вполне объяснимо. Мы хотели бы подчеркнуть, что первоначально здесь не было никакой ошибки, невежества или непонимания духа языка. Поначалу имел место независимый выбор, результаты которого в двух сферах литературного языка не совпали. Удивительным, на наш взгляд, кажется длительная живучесть этого семантического зазора, живучесть вопреки всему. На рубеже XVIII и XIX вв. путешественник литературный и путешественник, так сказать, естественнонаучный, взглядываясь в подробности пейзажа, как будто бы используют разные оптические и акустические приборы.

Племянник поэта А. П. Сумарокова, у которого, напомним, имелась басня «Стреказа», являл собой в этом отношении полную противоположность дяде. В своем «Путешествии по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году» он следует традиции Палласа и описывает свои путевые впечатления от насекомых следующим, вполне «естествоиспытательским» образом:

«В пяти или шести верстах от Миргорода увидел я в стороне от дороги толпящийся народ, и узнал, что то были высланные поселяне на истребле-

³³ К диалектным обозначениям стрекоз и кузнечиков ср. недавнюю работу: *Кривошапова Ю. А.* Об одной символической модели в славянской народной этимологии // *Славяноведение*. 2007. № 6 (Ноябрь — декабрь). С. 61—64. См. также: *Словарь русских народных говоров*. М.: Л., 1965. Т. 14. С. 20, 21, 256; Т. 16. С. 24, 25.

³⁴ Ср.: *Топоров В. Н.* Указ. соч. С. 384—404.

ние появившейся в сих местах саранчи. Я приказал ямщику подъехать к ним, и вышед из своей коляски нашел огорченных крестьян посреди миллионов сих вредоносных насекомых. Такое зрелище привело меня и в содрогание и в изумление; земля была ими покрыта; некоторые из них оставляли прежнюю свою кожу; они капышились и, не имея еще крыльев, перепрыгивали с одного места на другое, а величиною были с большого шмеля. Коньки, род кузнечиков, составляли их передовое войско, за которым следовала по веянию ветра саранча. Крестьяне вырывали рвы, и сметывая метлами в него саранчу, после оною в нем закапывали»³⁵.

У другого, куда более известного русского путешественника, Н. М. Карамзина, насекомое в лучшем случае является элементом литературной идиллии и своим поведением напоминает одновременно русского кузнечика и европейскую цикаду:

«Время летит, часы мои показывают полдень. Выхожу из рощи, солнце льет на меня пламя, ветерок не дышит, сребрящиеся листочки осинника не колеблются, легкое перо лежит на мураве неподвижно, василек повесил свою головку: пестрая Сильфида отдыхает на нем. Все молчит, кроме стрекозы, сидящей под томною травкою, пчела с сладким запахом своим сокрылась в улей, селянин покоится на бальзамической траве, им скошенной. Речка журчит и манит меня к берегам своим, — подхожу, ее струи прельщают, влекут меня, не могу противиться сему влечению и бросаюсь в текущий кристалл. Две ивы сплетают надо мною зеленую беседку, луч солнечный едва-едва проникает сквозь кров ее и пестрит осененную воду. Прохлада освежает мое сердце...»³⁶

Производит впечатление не столько естественное несовпадение двух разных стилей литературной речи, сколько отсутствие в общем литературном пространстве какой-то точки, где они могли бы пересечься и дополнить друг друга. Почва для такого пересечения, надо отметить, вскоре появилась. В этом отношении весьма показательны изменения во всевозможных переводческих словарях и многоязычных лексиконах. В конце XVIII и первом десятилетии XIX в. они, так сказать, ближе к языку поэзии и называют стрекозой *locusta*, *cicada* или *Heuschrecke* (т. е. 'саранча', 'кузнечик' и 'цикада'), но уже с 20-х гг. XIX в. они встают, так сказать, «на естественнонаучные рельсы» и используют слово «стрекоза» для перевода *libellula*, *Wasserjungfrau* или *demoiselle*, сохраняя, впрочем, и значение «цикада»³⁷. Таким образом, с формальной точки зрения у переводчика с французского или немецкого уже не было оснований путать стрекозу с саранчой, сверчком или кузнечиком.

Не то в языке оригинальной русской поэзии. Здесь этой встрече стрекозы₁ и стрекозы₂ еще долго не суждено состояться: в стихах господствует стрекоза₂,

³⁵ См.: *Сумароков П.* Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году. М., 1800. С. 2–3.

³⁶ «Деревня», 1793 г. См.: *Карамзин Н. М.* Сочинения. 2-е изд. М., 1814. С. 156.

³⁷ О слове «стрекоза» в многоязычных словарях той эпохи см. подробнее: *Плотникова-Робинсон В. А.* Указ. соч. С. 133–135.

шепчущая в пшенице у В. Кюхельбекера («Шекспировы духи», 1825), издающая живую трель у М. Ю. Лермонтова («Мцыри», 1839), с треском вьющаяся у молодого Н. В. Гоголя в «Ганце Кюхельгартене» (1827–1829) и поющая у зрелого Е. А. Баратынского («О мысль! тебе удел цветка...», 1832)³⁸. В этом отношении упоминавшееся нами стихотворение Ф. И. Тютчева, созданное в 1835 г., как бы замыкает собой некий хронологический ряд чистой, нетронутой литературной традиции XVIII в.

Переводческие словари тем не менее отражают, опережая, определенный довольно существенный историко-культурный процесс. Интересы русской читающей публики хотя бы отчасти начинают смещаться в сторону естественных наук. Натуральная история, записки путешественников, где есть точные описания конкретных видов, становятся все более популярным чтением, а собирание коллекций насекомых — все более популярным занятием. Не останавливаясь на характеристике этого явления подробно, отметим, что такого рода смещение в читательских предпочтениях или вкусах заходило не так далеко, как могло бы показаться (собственно говоря, яркость и поверхностность этого процесса равно отражены в самом хрестоматийном из посвященных ему произведений, в «Отцах и детях» И. С. Тургенева). Здесь еще нужно учитывать, что до поры до времени образованные люди, всерьез заинтересовавшиеся естественной историей, читали соответствующие труды, скорее, по-французски и по-немецки, а хлынувший в 40-е — 60-е гг. XIX в. поток переводов касался в первую очередь все-таки предметов не столь бесполезных, как стрекоза. Поэтому, постепенная эволюция семантики этой лексемы в сторону естественнонаучной стрекозы, вовсе не так радикальна и заметна.

Помимо всего прочего, в истории стрекозы литературной наступило некоторое затишье. Не то чтобы после Тютчева стрекоза в русской поэзии раз и навсегда замолкла, просто наступает довольно длительный период, когда она сравнительно редко упоминается в поэтической традиции вообще. Знаменательным образом она отсутствует у А. Фета, и по этому признаку Тютчев и Фет, два, так сказать, главных пейзажиста эпохи, могут быть противопоставлены друг другу.

Вплоть до конца XIX столетия стрекозу можно встретить скорее в прозе, хотя и здесь она не такая уж частая гостья. Главное поэтическое исключение составляет, пожалуй, уже упоминавшийся Н. Я. Мандельштам А. К. Толстой, хотя имеются, к примеру, и Я. Полонский с А. Майковым, у которого в стихот-

³⁸ Сказанное в той же мере относится и к прозаическим сочинениям этой поры. Ср., например, упоминание стрекозы у таких несхожих между собой писателей, как В. А. Жуковский («Марьяна роща: Старинное предание», 1809) и В. Т. Нарезный (Российский Жилблаз...», 1814): «Услад переходит источник вброд и по тропинке, вьющейся в кустах, идет на высоту горы — часто останавливается — слушает — ничего не слышит — одни только легкие струйки ручья переливаются с журчанием по песку, и зредка стучит стрекоза, изредка увядший листок срывается с дерева и с трепетанием падает на землю» (*Жуковский В. А. Собр. соч.: В 4 томах т. М.; Л., 1960. Т. 4. С. 379*); «Все свидетельствовало радость и наслаждение. Веселая стрекоза чирикала в траве, и трудолюбивый муравей выползал из норки на дневную работу. Вскоре показались землянички с женами и детьми» (Ч. 5., гл. 13); «Прелестный месяц тихо катился по прелестному небу. Близ стоящие деревья едва помахивали листиками; одни жуки и стрекозы прерывали безмолвие» (Ч. 6. Гл. 1) (*Нарезный В. Т. «Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова». Петрозаводск, 1983*).

ворении 1856 г. «Звуки ночи» стрекозы все еще «как часы, стучат между кустов». У А. Толстого стрекоз довольно много, и в его стихах можно пронаблюдать ту метаморфозу, которая поэтическая стрекоза постепенно претерпевает под воздействием естественнонаучной стрекозы₁ — она то ведет себя как заурядное четверокрылое, летая и пляшучи над омутом, то вдруг по старой памяти начинает распевать песни, превращаясь в сказочное или мистическое литературное существо.

Упомянув про прозу, нельзя не привести хотя бы пары прозаических примеров. Оставив в стороне само по себе интересное распределение слов «стрекоза», «кузнечик», «саранча», «сверчок» у И. С. Тургенева или М. Е. Салтыкова-Щедрина, отметим, как у Н. С. Лескова появление литературной стрекозы маркирует превращение пейзажа из вполне натуралистического в нарочито сказочный:

«Тонкие паутины плелись по темнеющему жнивью, по лиловым мохам репейника проступала почтенная седина, дикие утки сторожко смотрели, тихо двигаясь зарями по сонному пруду, и резвая стрекоза, пропев свою веселую пору, безнадежно ползла, скользя и обрываясь с каждого скошенного стебелечка, а по небу низко-низко тащились разорванные полы широкого шлафора, в котором разгуливал северный волшебник, ожидая, пока ему позволено будет раскрыть старые мехи с холодным ветром и развязать заиндеветший мешок с белоснежной зимой»³⁹.

В романе И. А. Гончарова «Обломов», где, казалось бы, нет места ни сказовой нарочитости, ни каламбурности, можно найти следующее описание:

«Он был как будто один в целом мире; он на цыпочках убегал от няни; осматривал всех, кто где спит; остановится и осмотрит пристально, как кто очнется, плюнет и промычит что-то во сне; потом с замирающим сердцем взбегал на галерею, обегал по скрипучим доскам кругом, лазил на голубятню, забирался в глушь сада, слушал, как жужжит жук, и далеко следил глазами его полет в воздухе; прислушивался, как кто-то все стрекочет в траве, искал и ловил нарушителей этой тишины; поймает стрекозу, оторвет ей крылья и смотрит, что из нее будет, или проткнет сквозь нее соломинку и следит, как она летает с этим прибавлением; с наслаждением, боясьдохнуть, наблюдает за пауком, как он сосет кровь пойманной мухи, как бедная жертва бьется и жужжит у него в лапах. Ребенок кончит тем, что убьет и жертву и мучителя»⁴⁰.

В этом насыщенном мелкими деталями детском впечатлении упоминание таинственного стрекочущего существа и описание летавшей с воткнутой соломинкой стрекозы соседствует друг с другом, что лишний раз подчеркивается перекличкой глагола «стрекотать» и существительного «стрекоза». Но речь идет об одном ли насекомом или о разных? Будь перед нами текст, созданный натуралистом, не было бы сомнений в том, что их два, однако в перспективе, заданной литературной традицией, практически неразрешим.

³⁹ «Некуда», 1864 г. См.: *Лесков Н. С.* Собр. соч.: В 11 т. Т. 2. М., 1956. С. 203–204.

⁴⁰ «Сон Обломова». См.: *Гончаров И. А.* Собр. соч.: В 6 т. Т. 4. М., 1959. С. 96.

Так или иначе, за вторую половину XIX столетия литературная стрекоза, скрытно и неявно пережила все же определенную трансформацию. На вид она очевидно стала более схожа со стрекозой₁, а, так сказать, акустически сохранила вокальные способности. Начало XX в., напротив того, было ознаменовано буквальным нашествием стрекоз в русской поэзии⁴¹. Одним из чемпионов, соперничавшим с О. Э. Мандельштамом, по частотности употребления этого слова были не Б. Л. Пастернак, не А. А. Ахматова, и даже не А. Белый, в чьих произведениях довольно много стрекоз, а И. Северянин. И что же?

Стало ясно, что, проделав изрядный эволюционный путь, литературная стрекоза практически утратила сверчковую-кузнечиковую способность прыгать, но не потеряла умения издавать громкие звуки, явно противопоказанные энтомологической стрекозе₁. Даже самый факт полноправного утверждения в литературе слова «цикада» уже ничего не мог изменить. Басенно-поэтический стрекозий импульс, заданный на рубеже XVIII–XIX вв. был, в сущности, настолько силен, что множество современных читателей и исследователей не только не обращают внимания на несообразность стрекозы поющей, но, как кажется, всерьез убеждены в способности этого радужного, четверокрылого насекомого производить разнообразные, разливающиеся на большие расстояния звуки⁴².

Почему, однако, отгадывая загадку О. Э. Мандельштама, мы столь подробно говорим о XVIII в.? К чему здесь Линней и Паллас, Крылов и Лафонтен, язык науки и всяческие энтомологические описания, впечатления натуралистов и заботы классификаторов? Почему поэзии должно справляться с натуральной историей?

Дело в том, что одновременно со стихотворением «Дайте Тютчеву стрекозу» О. Э. Мандельштам создал не только знаменитое «К немецкой речи» и «Стихи о русской поэзии», но и ряд прозаических текстов, прямо касающихся второго из разбираемых нами регистров литературного языка. «Чтение натуралистов-систематиков (Линнея, Бюффона, Палласа) прекрасно влияет на расположение чувств, выпрямляет глаз и сообщает душе минеральное кварцевое спокойствие»⁴³ — эти слова Мандельштама можно рассматривать в качестве введения в круг мыслей и чтения поэта, захватившего его на несколько лет. Более всего, наверное, его интересовало становление научного языка, с одной стороны, и специфика и своеобразие стиля каждого из натуралистов — с другой. Несколько упрощая подход поэта к истории этого языка, можно сказать, что она держится для него на четырех основных точках: 1) время Линнея и его последователей, 2) время Ламарка и ламаркизма, 3) время Дарвина и 4) современность, в которую непосредственно «прорастает» дискуссия между сторонниками Дарвина и Ламарка. В заметках к статье «Вокруг натуралистов» мы находим нечто вроде конспекта его соображений об эволюции стиля естественных наук:

«Единое явление в центре внимания линнеевского натуралиста.

Описательность. Живописность. «Миниатюры» Бюффона и Палласа. Теология. Благодарность. Умиленность. Похвала природе.

⁴¹ Некоторые примеры см.: *Фаустов А. А.* «Голос стрекозы» (об одном тютчевском образе в зеркале интертекста); *Фаустов А. А.* Голос стрекозы в русской поэзии; *Топоров В. Н.* Указ. соч. С. 405–416; *Безродный М.* Указ. соч.

⁴² Ср., например: *Топоров В. Н.* Указ. соч. С. 404–405

⁴³ См.: *Мандельштам О. Э.* Стихотворения. Проза. С. 393.

Красноречие — Линней, Бюффон, Ламарк.

Прозаизм Дарвина. Популярность. Установка на среднего читателя. Тон беседы.

Метод серийного разворачивания признаков. Пачки примеров. Подбор гетерогенных рядов. Помещение действенных примеров в центре доказательства.

Приливы и отливы достоверности, как ритм в изложении. (Происхождение видов)...»⁴⁴

Как мы увидим, большая часть этого плана была развернута подробнее в статьях Мандельштама.

Петер Симон Паллас был для Мандельштама одним из тех систематиков-описателей, последователей Линнея, у кого детальные характеристики «расцвели в узор, в миниатюру, в кружево». Заметки поэта о Палласе выдают страстную любовь, порой доходящую до раздражения. Он отмечает, в частности:

«Здесь барская изощренность и чувствительность глаза, выхоленность и виртуозность описи доведены до предела, до крепостной миниатюры. Описанная Палласом азиатская козявка костюмирована под китайский придворный театр, под крепостной балет. Натуралист преследует чисто живописные феерические задачи... Он забывает упомянуть анатомическую структуру насекомого»⁴⁵.

И тут же Мандельштам не может удержаться от того, чтобы не воспроизвести полностью характеристику этой козявки у Палласа:

«Азиатская Козявка (*Chrisomela Asiatica*). Величиною с Сольстициального Жука, а видом кругловатая с шароватою грудью. Стан и ноги с прозеленью золотья; грудь темнее; голова меднаго цвета. Твердокрылия гладкия лоснящияся, с примесью фиолетоваго цвета черныя. Усы ровныя; передния ноги несколько побольше. Поимана при Индерском озере»⁴⁶.

Таким образом, проблематика естественнонаучных и литературных описаний природы второй половины XVIII — начала XIX в. не только прекрасно известна поэту, но и была по крайней мере в определенный период жизни едва ли не в центре его размышлений и языковой рефлексии. Насколько стрекозий сюжет вовлечен в разворачивающуюся перед его мысленным взором историю языка и стиля естественных наук видно хотя бы из мандельштамовских описаний второго этапа этой истории, связанного с эволюционной теорией Ламарка:

«У Ламарка басенные звери. Они приспособлены к условиям жизни по Лафонтену... Лафонтен, если хотите, подготовил учение Ламарка. Его умничающие, морализирующие, рассудительные звери были прекрасным жи-

⁴⁴ См.: Мандельштам О. Э. Собр. соч.: В 4 т. / Под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. М., 1991. Т. 3. С. 170.

⁴⁵ См.: Мандельштам О. Э. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. С. 174.

⁴⁶ См. Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. Ч. 1. С. 23 (Прибавление), § 30; Мандельштам О. Э. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. С. 174, 135.

вым материалом для эволюции. Они уже разверстали между собой ее мандаты»⁴⁷.

Генезис стиля Ламарка, его родство с Лафонтеном, чрезвычайно важные для Мандельштама сами по себе, должны были найти себе убежище не только «в люксембургском саду», т. е. во Франции, но и в стихии родного языка поэта, а здесь Лафонтен немедленно и неминуемо принимает обличье знаменитого русского баснописца:

«Уже расположились дети играть в песочек у подножья эволюционной теории дедушки Крылова, то бишь Ламарка-Лафонтена»⁴⁸.

Записи Мандельштама явно демонстрируют его обостренное внимание и к специфике басенного бестиария в его русском, крыловском воплощении. Именно эта специфика, как мы помним, если не породила, то уж, во всяком случае, надолго закрепила в русской литературной традиции выделенную нами стрекозу₂, причудливый гибрид нескольких насекомых.

Чувствовал ли этот зазор в первой половине XX в. кто-нибудь еще кроме Мандельштама? Можно сказать — и «нет» и «да». Особая тема — это энтомолог В. Набоков, но именно в силу обширности я бы не хотел ее здесь касаться. Есть очень любопытный пример совсем из другого автора, как ни странно — из позднего Л. Н. Толстого.

В рассказе «Божеское и человеческое», опубликованном в 1906 г., он описывает, как приговоренный к смерти человек начинает читать Библию. Будучи атеистом, герой по имени Светлогуб сперва воспринимает текст максимально отчужденно, и эту-то отчужденность и передает Толстой:

«Он прочел первую главу о рождении девой и о пророчестве, состоящем в том, что нарекут рожденному имя Эммануил, означающее “с нами Бог”. “И в чем же тут пророчество?” — подумал он и продолжал читать. Он прочел и вторую главу — о ходячей звезде, и третью — об Иоанне, питающемся стрекозами, и четвертую — о каком-то дьяволе, предлагавшем Христу гимнастическое упражнение с крыши»⁴⁹.

Найти этих «стрекоз», которыми питался Иоанн Предтеча, где бы то ни было в Библии — церковнославянской или русской, — Л. Н. Толстой, разумеется, никак не мог, в библейской лексике, как уже говорилось, стрекозы отсутствовали вовсе. Согласно синодальному переводу, пищей Предтечи «были акриды и дикий мёд» (Мф 3. 4). В греческом тексте фигурируют акриды (*akridas*), которые в церковнославянском традиционно могли передаваться как «проузи», «пружіе», а в Вульгате, закономерным образом, как *locusta* ‘саранча’. В ostrаниении же, которое практикует Толстой, он, по-видимому, задействует литературный узус конца XVIII в., где саранча могла еще именоваться стрекозой. Читателю XVIII в. такое словоупотребление едва ли показалось бы странным; ср., например:

⁴⁷ См.: Мандельштам О. Э. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. С. 162; Мандельштам О. Э. Стихотворения. Проза. С. 395.

⁴⁸ См.: Мандельштам О. Э. Стихотворения. Проза. С. 395–396.

⁴⁹ См.: Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 14. М., 1983. С. 260.

«Готтентот засыпает крепким сном, чтобы не терпеть голода; стягивает себе ремнями желудок, чтобы обойтись без пищи; наедается по горло мясом и жиром животных, и потом живет несколько дней одними стрекозами»⁵⁰.

Читатель же XX в. при слове «стрекоза» представлял уже совсем другое существо с четырьмя перпендикулярными телу растопыренными крыльями. Это несовпадение и создает здесь эффект абсурда в ряду других абсурдов.

Однако все это рефлексия, так сказать, другого уровня, другого порядка, у Л. Н. Толстого она вся остается в рамках языковой игры, поставленной на службу художественной задачи⁵¹, он никак не эксплицирует ее, и ни свое, ни читательское внимание на ней специально не задерживает.

Что же касается О. Э. Манделъштама, то здесь мы не просто имеем дело с экспликацией историко-культурного факта. Пунктир его размышлений о стилистике и образности в языке естественных наук точно совпадает с основными вехами истории употребления слова «стрекоза» в русской литературе⁵². На этом фоне кажется почти излишним упоминание о том, что интересующая нас загадка «Дайте Тютчеву стрекузу, / Догадайтесь, почему...» (июль 1932 г.) и все процитированные выше записи Манделъштама о Линнее, Палласе, Лафонтене, Ламарке, Крылове и Дарвине появились на протяжении полутора лет (1931–1932). Тогда же было написано стихотворение «Ламарк» (май 1932 г.), его от строчек о тютчевской стрекузе отделяло не более двух месяцев. Подчеркнем, что на это же время приходится и дружба с биологом-неоламаркистом Б. С. Кузиным, с которым Манделъштамы познакомились в Ереване. Именно Кузину посвящено, как известно, написанное тем же летом 1932 г. «К немецкой речи». Тема поэтического языка и тема языка науки в этот период как никогда плотно сплетаются у Манделъштама.

Итак, О. Э. Манделъштам подчеркивает, что стрекоза у Тютчева — это не стрекоза, и хочет дать ему подлинную стрекозу-libellula. Говоря корректнее, он эксплицировал зазор между тютчевской стрекозой, стрекозой₂, обитающей на

⁵⁰ «Об Иностранных Книгах». См.: Московский журнал. Ч. 1–8. М., 1791–1792. Ч. 1. С. 120.

⁵¹ *Примеч. ред.*: напомним, что герой рассказа, воспринимая вначале евангельский текст отчужденно (что продемонстрировано в приведенной цитате), постепенно проникается любовью к Евангелию.

⁵² Игнорирование естественнонаучных интересов Манделъштама и его круга чтения, связанного с русскими естествоиспытателями конца XVIII в., неожиданным образом может приводить к сомнениям в собственно языковой и историко-культурной компетенции поэта. В этом отношении весьма показательны рассуждения Г. А. Левинтона, который отметил «специфическое употребление слова «стрекоза» в XVIII – начале XIX века», но исходит из того, что «это вряд ли было известно Манделъштаму» (*Левинтон Г. А.* «На каменных отрогах Пиэрии» Манделъштама: Материалы к анализу // *Russian Literature*. 1977. Vol. 5. С. 143; автор приносит благодарность Е. Сошкину за указание на эту работу). Между тем знание специфики слова «стрекоза» в русских переводных баснях отнюдь не было литературоведческим открытием второй половины XX столетия. Знание этого обстоятельства стало своего рода «общим местом» для читающей публики гораздо раньше. Манделъштам же, как мы попытались показать, располагал сведениями вполне достаточными и для куда более сложных построений относительно развития различных регистров русского литературного языка.

страницах литературных произведений, и стрекозой¹, живущей в естественно-научных описаниях. Именно язык последних представлялся ему, по-видимому, своеобразным ресурсом, с одной стороны, неотделимым от литературной традиции, а с другой стороны, на русской почве в этой традиции явно недостаточно использованным.

Выбор лексемы «стрекоза» в данном случае безошибочен. В самом деле, многие слова разговорного языка были подхвачены зоологами и обращены в термины. Но эта терминологичность никак не повлияла на общелитературное функционирование этих слов. Так происходит, например, со словами «букашка» или «козявка» — ученые называют «козявками» лишь определенные виды жуков, тогда как всякий нормальный носитель литературного языка с полным правом именуется так любую живую мелочь. Не то со стрекозами. Их поэтическая и естественнонаучная сущность уже достаточно близки друг к другу, остается лишь сделать последний, решительный шаг и слить их воедино.

Условно говоря, русская поэзия создавала свой собственный образ, позволявший называть «стрекозой» нечто обладающее свойствами, не принадлежащими, наверное, ни одному насекомому в мире. Мандельштам же предлагает называть «стрекозой» стрекозу, в каком-то смысле возвращаясь в сферу литературной полемики символистов и акмеистов. Своей загадкой он отчасти отталкивается, как и во времена акмеистического манифеста, от парадигмы, нашедшей свое предельное воплощение у символистов, когда «образы выпотрошены как чучела и набиты чужим содержанием» («О природе слова»), и возвращается к, так сказать, словарным значениям имен и названий.

Поэт не рассматривает язык науки как некоторую застывшую в неподвижности точку отсчета в значении слова. Прозаические тексты Мандельштама достаточно ясно демонстрируют, что он воспринимал этот язык как явление столь же сложное, изменчивое и индивидуальное, что и язык изящной словесности, как полноправную часть единого целого — литературы. Так, Линнея он сближает с ярмарочным зазывалой, завершая это снижающее сравнение словами:

«Эти зазывалы-объяснители меньше всего думали о том, что им придется сыграть некоторую роль в происхождении стиля классического естествознания... Сближая важные творения шведского натуралиста с красноречием базарного говоруна, я отнюдь не намерен принизить Линнея. Я хочу лишь напомнить, что натуралист — профессиональный рассказчик и публичный демонстратор живых интересных вещей»⁵³.

В спутники Палласу Мандельштам мысленно дает некоего иного, как Гоголя, и беспокоится: «...все для него иначе, как бы они не перегрызлись в дороге»⁵⁴. В научных сочинениях Дарвина он отмечает «элементы географической прозы, начатки колониальной повести и морского фабульного рассказа».

Разумеется, создавая свой отчасти шуточный текст, О. Э. Мандельштам не раскладывал перед собой заново все упомянутые тексты, сколь бы важны для него ни были многие из них. В настоящей работе мы, скорее, медленно и поэ-

⁵³ См.: Мандельштам О. Э. Стихотворения. Проза. С. 396–397.

⁵⁴ См.: Мандельштам О. Э. Собр. соч. : В 4 т. Т. 3. С. 163.

тапно попытались реконструировать мгновенный поэтический импульс, который позволил скомпрессировать некое историко-культурное явление до предела и уместить его в двухстрочную загадку. Предлагаемая нами «лексикографическая» отгадка, конечно, ни в коей мере не может подменить собой различных литературоведческих интерпретаций этого текста, тем более что перед нами, повторимся, столь редкий и счастливый случай, когда санкция на всевозможные прочтения и истолкования выдана самим автором, обратившимся к читателям с прямым призывом — «Догадайтесь, почему!».

HABENT SUA FATA LIBELLULAE

Towards a history of Russian literary insects

FYODOR B. USPENSKI

The author suggests his own solution of the «riddle» posed by Osip Mandelstam's lines «*Дайте Тютчеву стрекузу — / Догадайтесь, почему?*» («Give a dragonfly to Tyutchev — / Guess why?»). Analyzing the behaviour of the word *стрекоза* 'dragonfly' in literary Russian, F. B. Uspenski concludes that the literary language possesses two separate lexemes conventionally labelled by him *стрекоза*₁ (entomological) and *стрекоза*₂ (literary). The notions these lexemes signify are not identical, as in Russian poetic tradition the word *стрекоза* denotes an insect whose characteristics differ from those of a real dragonfly. When Mandelstam urges to «give a dragonfly to Tyutchev», he acts (in the author's opinion) in accordance with the acmeist polemics against the symbolists, suggesting that names should again acquire their real, «dictionary» meanings instead of symbolic ones.